

А. В. Святославский, А. А. Алехина

**Творческая личность на рубеже эпох:
к дискуссии вокруг повести М. Пришвина «Мирская чаша»**

Публикация приурочена к 100-летию русской революции 1917 г. и посвящена анализу построенной на автобиографическом материале повести Пришвина «Мирская чаша». Повесть являет сложный образец прозы, позволяющий интерпретировать основную идею автора с точностью до наоборот – как произведение «революционное» или «контрреволюционное», что само по себе отражает амбивалентное отношение Пришвина к революции, остро переживаемой им как рубеж двух миров.

Ключевые слова: Михаил Пришвин, «Мирская чаша», русская революция 1917 г., Борис Пильняк, русская литература 1920-х гг., интеллигенция и революция.

A. V. Svyatoslavsky, A. A. Alyokhina

**A Creative Personality at the Boundary of Epochs:
Concerning the Discussion around the Michael Prishvin's Story «Cup of Peace»**

The report is dedicated to the 100-th anniversary of the Russian revolution of 1917 and is devoted to the analysis of Prishvin's story «Cup of Peace», based on the autobiographical material. The narrative is a complex example of prose that allows one to interpret the author's main idea to the exact opposite – as «revolutionary» or «counterrevolutionary» work, which in itself reflects the ambivalent attitude of Prishvin to the Revolution, acutely experienced by him as a boundary between two worlds.

Keywords: Michael Prishvin, the Russian Revolution of 1917, intelligentsia in Revolution, Russian literature of 1920-s, Boris Pilnyak.

В год столетия русской революции 1917 г. мы обращаемся к одному из сложных для понимания произведений первых пореволюционных лет – повести Михаила Пришвина «Мирская чаша», вызвавшей (и продолжающей вызывать) совершенно неоднозначные интерпретации вплоть до полярно противоположных трактовок образов героев и авторского отношения к событиям революции. Пережив тяготы революции и Гражданской войны, Пришвин с июня 1920 г. оседает на родине своей жены на Смоленщине, где работает сельским учителем, «шкрабом», как это называлось тогда, и пишет повесть, первоначально получившую название «Раб обезьяний», позднее известную читателю как «Мирская чаша». Повесть носит автобиографический характер, рисуя картины жизни смоленской деревни пореволюционных лет и жизни самого Пришвина, однако очевидно, что перед нами не документальное, а в высшей степени художественное произведение, исполненное символической образности, подтекстов – и допускающее тем самым неоднозначное прочтение смыслов. В связи с этим произведением возникает серьезнейший для всей жизни Пришвина вопрос: чем стала для России революция и советская власть?

Очень непросто говорить об отношении Пришвина к революции и ее последствиям, это стало предметом размышлений в Дневниках на всю его дальнейшую жизнь, и отношение было весьма неоднозначным. С одной стороны, Пришвин в прошлом марксист, активный участник социал-демократического подполья еще в 1890-х гг., с другой – человек, отошедший после длительного тюремного заключения от участия во всякой политической жизни. С одной стороны, в канун революций 1917 г. он близок к эсерам и даже многими считается полноценным эсером, с другой – осудил деструктивный характер революционных методов, которых эсеры придерживались не меньше, а даже больше, чем большевики.

Революция означала для Пришвина также крах собственных надежд, когда он, вернувшись в родовое гнездо под Ельцом и получив свою долю от родственников при разделе материнской усадьбы (что давало надежду заняться там честным трудом), вдруг оказывается изгнан крестьянами, воспринимающими его, выходца из мещанско-купеческого сословия, как класс чуждый и подлежащий выселению. Дальше начинается период голодных мытарств Пришвина, имеющего жену-крестьянку и двоих детей на руках.

В итоге, как выражение этих противоречивых мировоззренческих установок, в отличие от однозначно не принявших революцию писателей, Пришвин в «Мирской чаше» и особенно в более поздних дневниковых записях все же предстает человеком, который пытается провести грань между бедствиями, идущими собственно от идеологии большевиков, и бедствиями, в которых объективно повинна сама История, сам исторический процесс бытия русского народа – и даже отчасти повинен сам народ. Впрочем, как показало время, и читатели увидели в «Мирской чаше» как оправдание, так и осуждение революции. Размышления о «свободе», лозунге всех революций, – свободе, которой вожделем народ и русская интеллигенция, наводят Пришвина на мысли о деструктивных последствиях этого всеобщего порыва к низвержению всего, что, как казалось, мешало осуществиться высоким идеалам свободы.

Повесть начинается с излюбленной пришвинской темы природы, но размышления автора быстро переходят не просто к осуждению технократической цивилизации (Пришвин всегда, подобно философу Николаю Федорову, резко противопоставляет культуру и цивилизацию), но к социальной катастрофе народа, опьяненного «свободой». Здесь Пришвин фактически переключается с размышлениями Великого инквизитора у Ф. М. Достоевского («Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики...») – так это у Достоевского).

Приведем фрагмент этих рассуждений в «Мирской чаше», заметив, что слово «свобода» в рукописи выделено: *«Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края. Бывало, бродишь по этим лесам – какая могучая тишина, какая богатая пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто – сто! – лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы, заборы, фермы – страх за сто лет! И что же оказалось: при одном слове свобода миллионы людей бросились рубить себе новый крест – мало раньше страдали! В год-два леса были так исковерканы, завалены сучьями, макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы?»* [4, с. 20–21].

В итоге возникла типичная для рождающейся советской литературы ситуация, когда автору придется убеждать идеологическую цензуру в возможности печатания вещи как вполне советской по духу, если он не хочет работать «в стол» или публиковать за границей, что нередко было чревато неприятностями в дальнейшем.

В дискуссии по поводу публикации «Мирской чаши» (под первоначальным названием «Раба обезьяний») в 1922 г. оказалось вовлечено несколько известных лиц: редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский, которому Пришвин предложил повесть для публикации, Л. Д. Троцкий, а также Б. А. Пильняк, с которым Пришвин вступает в переписку в связи со сравнительным анализом своей повести и романа Пильняка «Голый год», без прикрас рисующего ужасы первых пореволюционных лет (роман Пильняка в итоге был издан в Берлине в 1922 г.). После отказа Воронского печатать «Раба обезьяньего» по идеологическим мотивам Пришвин отправляет вещь непосредственно Л. Д. Троцкому как своего рода высшему судье в советской идеологической системе. Текст письма приведен в дневниковой записи Пришвина от 24 августа 1922 г. [2, с. 260–261].

Через какое-то время Пришвин получает (через Воронского) ответ Троцкого следующего содержания: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна». *«Я ответил на это Воронскому, – записывает Пришвин в Дневнике 8 сентября 1922 г., – “Вот и паспорт мне дал”. Между прочим, Пильняк – единственный, кто предвидел ответ, сказав мне: “Нечего ждать от Троцкого чего-нибудь, он ограниченный человек, спец в своем деле, но в литературе неумный”*» [2, с. 267].

Странно, что Пильняк не учел возможности Троцкого как ценителя эстетического в литературе. Ведь Пришвин писал не памфлет, не публицистику, не просто мысли вслух. Он писал художественную вещь, вроде бы отчасти по законам сатиры (гротеск и прочее), но, как выясняется, проявил наивность, не будучи способен глянуть глазами цензоров. Пришвин, видимо, выглядел в глазах Троцкого и Пильняка художником не от мира сего.

Как уже говорилось, в письме к Пильняку Пришвин пытается оправдать и обосновать возможность публикации «Раба обезьяньего» в советских условиях, сравнивая повесть с романом Пильняка «Голый год». Само по себе сравнение

этих вещей, представляющих изнутри и без прикрас революцию и первые пореволюционные года в России, интересно для исследователя отечественной истории и литературы. Пришвин убежден, что его вещь даже больше соответствует нарождающейся советской идеологии, чем роман Пильняка. Защиту своей повести Пришвин выстраивает, исходя из оправдания образа одного из ключевых героев, – Персюка, революционного матроса, ставшего комиссаром и фактически управляющего целым районом от имени новой власти. Некоторые черты Персюка, возможно, действительно, могут вызвать симпатию. Вопрос, правда, упирается в то, как воспринимать авторские средства изображения: как добрый юмор и иронию или как злой сарказм?

Пришвин пишет, в частности, Пильняку, что если с точки зрения положительного героя поместить на чаши весов Персюка и условно соответствующего ему героя романа Пильняка большевика Архипа, то Персюк «перевесит»: «если я поделюсь вариантом моей повести (оставляемым дома), где прямо сказано, что “Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада” (я не поместил эту смелую фразу, боясь, с одной стороны, враждебной мне ее рассудочности, а с другой – из “не сотвори себе кумира”)

[2, с. 265]. *Есть и объективные данные в пользу Персюка*, – продолжает Пришвин, – *в моей аудитории некоторые лица заявили, что я открыл им глаза на хорошие стороны Персюка»* [2, с. 265]. Весьма значимое замечание Пришвина. Мысль о том, что ценой большого насилия, ломки устоев советская власть удержала Россию от полной катастрофы, как известно, приходила многим, в том числе некоторым русским эмигрантам уже в дальнейшем – когда начались экономические успехи СССР и была одержана победа в Великой Отечественной войне.

Однако на Воронского, на Троцкого и на Пильняка образ комиссара производит однозначно контрреволюционное впечатление, – и читателю предстоит самому понять, есть ли на самом деле доля авторского восхищения и уважения к полуграмотному матросу, читающему Маркса – чтобы «достигнуть». Или этот образ – все-таки сплошная сатира и издевательство. Комиссар Персюк появляется в музее у учителя Алпатова и спрашивает, нет ли книги Дарвина – почитать на тему о происхождении человека от обезьяны, Алпатов же поворачивает разговор в курьезную сторону, говоря, что теперь, напротив, многие интересуются, как человек, деградируя, доходит

до обезьяны. И на удивленный вопрос Персюка, как такое может быть, – ставит перед комиссаром встречный вопрос [4, с. 36–37]:

– Приходилось вам, выпивая стакан за стаканом, чувствовать себя хуже обезьяны, зато наверху кто-то остается светлый, как ангел, и удивляешься, откуда при всем своем и окружающем безобразии он явился и существует в душе?

Персюк присел в мягкое кресло и вдруг как бы остановился в себе и вспомнил:

– Да, бывало, на море заберешься в канат от офицера, высадишь бутылку враз и ну Маркса читать.

– Маркса?

– И думаешь при этом, как бы достигнуть...

– Чего достигнуть?

Стоп! – Запрокинув голову, постучал себя пальцем по горлу. – Есть?

– Только в лампах денатурат.

– Давай лампу.

– Не отравиться бы: медная лампа.

– Давай!

И вливает все четыре лампы в себя трехлетнего настоя меди в спирту.

Далее Пришвин развивает образ обезьяны, который становится одним из ключевых символов: обезьяна – это своего рода первородный грех, просыпающийся в человеке, чтобы уводить его в темную сторону (бинарная оппозиция «свет – тьма» является одной из принципиальных для Пришвина). Обезьяна даже просыпается в самом Алпатове, когда он испытывает искушение продать музейный экспонат, сундук. Обезьяна – это также и массовая психология народа, получившая у социологов впоследствии название маскульты в самом негативном смысле. По существу, в повести прослеживается оппозиция элитарной и массовой культуры.

Само первоначальное название повести «Раб обезьяний» уже о многом говорило читателю. Конечно же, оно было крайне неудачным с точки зрения возможности публикации. Образ обезьяны в христианской семиотике и вообще в русской культуре (вспомним басни Крылова) исполнен негативных коннотаций. Превратно поняты лозунги революции, бездумное следование неким умным теориям освобождения народа, формальное в ущерб сущностному – все это видится «переобезьяниванием» высоких идей марксизма и народничества, которыми болела русская молодежь, не исключая Пришвина. Новый строй, вводя свои новые культы и ритуалы, фактически пе-

реобезьянивал также и православный культ, что не раз отмечалось впоследствии отечественными мыслителями. «Прикосновенность к свободе, – рассуждает главный герой повести Алпатов, – есть и прикосновенность к страданию, но только душу свободную очищает страдание, и нельзя сказать, как говорят, что страдание очищает душу, скорее обыкновенную душу оно убивает, да, их убивает страдание, оттого что они рабы прирожденные обезьяньего мира» [4, с. 58]. То есть, по Пришвину, человечество делится на души обыкновенные, которых и страдание не очищает, и души внутренне свободные, не потерявшие ангельского образа в себе – для которых страдание действует очищающе.

Но если образ Персюка еще как-то можно оправдать с точки зрения идеалов революции, то в остальном у Троцкого и его идеологической команды могло остаться немало претензий к Пришвину. Чего стоит, например, рассуждение Алпатова (за которым стоит, естественно, автор!) об извращении доброй православной традиции совместной трапезы («тайноядение» даже признается грехом в православии), когда сам факт «совместного действия» снова «переобезьянивается» до наоборот – до абсурда и пошлости! Читаем об этом: «Почему-то люди раньше любили есть все вместе, какое это удовольствие было собраться вместе за едой лицом к лицу, за столом, покрытым непременно белой скатертью, поесть вместе, поблагодарить хозяина и потом очень осторожно – Боже сохрани, чтобы кто не заметил незастегнутую пуговицу, – в одиночку освободиться от переваренной пищи. Теперь, напротив, освобождаются от пищи все вместе, а едят тайно, в одиночку, стыдно в дом войти, где обедают, переконфузятся и гости, и хозяйева, будто в отхожем месте встретились» [4, с. 57].

Что это – сущность перерождения русской культуры в революционном огне, или это временное явление, свойственное наиболее темным слоям населения? Но ведь приведенные размышления отнесены Алпатовым к шкрабам – учителям, просветителям народа, которые, казалось бы, никак не могут считаться «темной» частью человечества. В письме Троцкому Пришвин впрочем употребляет любопытное словосочетание «русская некультурная интеллигенция»: «Ничего не жду хорошего для себя от напечатания, – пишет он, – но мне кажется, она [книга “Раб обезьяний”. – А. С. и А. А.] сыграет большую роль среди молодых писателей, которые пишут о революции, затвердив на зубах себе

платформу приятия, она их научит танцевать не от печки. Боюсь я, что процесс революции русскую некультурную интеллигенцию отучает воспринимать» [2, с. 261]. Здесь Пришвин, по существу, говорит о методе писателя, который должен трезво и непредвзято показывать истинное лицо революции, не идеализируя ее в угоду новой идеологии. Впрочем, методологически Пришвин считает необходимым, но недостаточным беспристрастное изображение действительности. В дальнейшем он запишет: «Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью» [3, с. 373].

Интересно наблюдение пришвиноведа А. М. Подоксенова, рассматривающего (на основе дневниковых записей Пришвина) Максима Горького как реальный источник мыслей, высказываемых в споре с Алпатовым еще одним героем повести «Мирская чаша» – огородником Крыскиным, который употребляет презрительное слово «антиллегенция». «Логично предположить, – пишет Подоксенов, – что ... слова Крыскина “во всех смутах и во все времена была виновата антиллегенция” относятся прежде всего, к самому Горькому и той интеллигенции, которая, идейно обеспечив победу большевиков, из движущей силы революции сама превратилась в ее жертву и принесла в жертву революции народ, дьявольски обманувшись в своем намерении достичь социального добра, поклоняясь злу классовой ненависти» [1, с. 102].

Здесь содержится ответ на поставленный нами вопрос о негативной роли интеллигенции в революции. Если принять точку зрения Подоксенова, становится понятным, какая часть просвещенного и просвещающего российского сословия становится объектом осуждения у Пришвина и за что он ее осуждает. Несколько заумные объяснения Пришвина, приготовленные для Пильняка, едва ли устроили бы кого-либо из идеологов новой власти и цензоров. Повесть к тому же пронизана библейскими мотивами, чего Пришвин не скрывает в письме, когда пишет Пильняку буквально следующее: «У Вас всей мерзости противопоставляется Персюк, у меня он едва отличим от мерзости и противопоставляется идеальной личности, пытающейся идти по пути Христа и распятого с лишением имени на похоронах “товарища покойника”. Правда, я не посмел довести своего героя до Христа, но ча-

стицу его вложил и представил 19-й год XX века мрачной картиной распятия Христа» [2, с. 266].

В итоге повесть впервые была опубликована под названием «Мирская чаша», причем с купюрами, в 8-томном собрании сочинений М. Пришвина лишь в 1982 г. Отдельные фрагменты публиковались вдовой писателя В. Д. Пришвиной чуть раньше – в журнале «Север» в 1979 г. Без купюр «Мирская чаша» увидела свет отдельным изданием только в 1990 г., на исходе горбачевской «гласности».

Библиографический список

1. Подоксенов, А. М. Михаил Пришвин и Максим Горький: тайна прототипа огородника Крыскина из повести «Мирская чаша» [Текст] / А. М. Подоксенов // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. Серия «Культурология»: Энтелехия / гл. ред. И. А. Едошина. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011. – Т. 17. – № 23. – С. 97–105.
2. Пришвин, М. М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920–1922 гг. / подг. текста Л. А. Рязановой ; комм. Я. З. Гришиной, В. Ю. Гришина [Текст] / М. М. Пришвин. – М. : Моск. рабочий, 1995. – 334 с.
3. Пришвин, М. М. Незабудки [Текст] / М. М. Пришвин // Пришвин М. М. Весна света / сост. и коммент. Л. А. Рязанова, Я. З. Гришина. – М. : Жизнь и мысль, 2001. – С. 319–568.
4. Пришвин, М. М. Мирская чаша [Текст] / М. М. Пришвин. – М. : Худож. лит., 1990. – 272 с.

Bibliograficheskiy spisok

1. Podoksenov, A. M. Mihail Prishvin i Maksim Gor'kij: tajna prototipa ogorodnika Kryskina iz povesti «Mirskaja chasha» [Tekst] / A. M. Podoksenov // Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova. Serija «Kul'turologija»: Jentelehija / gl. red. I. A. Edoshina. – Kostroma : KGU im. N. A. Nekrasova, 2011. – T. 17. – № 23. – S. 97–105.
2. Prishvin, M. M. Dnevniki: Kniga tret'ja. Dnevniki 1920–1922 gg. / podg. teksta L. A. Rjazanovoj ; komm. Ja. Z. Grishinoj, V. Ju. Grishina [Tekst] / M. M. Prishvin. – M. : Mosk. rabochij, 1995. – 334 s.
3. Prishvin, M. M. Nezabudki [Tekst] / M. M. Prishvin // Prishvin M. M. Vesna sveta / sost. i komment. L. A. Rjazanova, Ja. Z. Grishina. – M. : Zhizn' i mysl', 2001. – S. 319–568.
4. Prishvin, M. M. Mirskaja chasha [Tekst] / M. M. Prishvin. – M. : Hudozh. lit., 1990. – 272 s.

Reference List

1. Podoksenov A. M. Mikhail Prishvin and Maksim Gorky: the mystery of a prototype of gardener Kryskin from the story «Wordly Bowl» // Bulletin of KSU named after N. A. Nekrasov. Cultural science series: Entelekhiya/ editor-in-chief I. A. Edoshin. – Kostroma: KSU named after N. A. Nekrasov, 2011. – V. 17. – № 23. – Page 97–105.
2. Prishvin M. M. Diaries: Third book. Diaries of 1920–1922 / text done by L. A. Ryazanova; comments by Ya.Z. Grishina, V. Yu. Grishin. – M. : Moskovsky rabochy, 1995. – 334 pages.
3. Prishvin M. M. Forget-me-nots // Prishvin M. M. Spring of light / author and comments by L. A. Ryazanova, Ya.Z. Grishina. – M. : Zhizn i Mysl, 2001. – Page 319–568.
4. Prishvin M. M. Wordly bowl. – M. : Khudozhestvennaya Literatura 1990. – 272 pages.